

Леонид Андреев

На реке



Леонид Николаевич Андреев

На реке

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=146669

Аннотация

«Алексей Степанович, машинист при Буковской мельнице, среди ночи проснулся, не то уже выславшись, так как накануне он завалился спать с восьми часов, не то от ровного шума дождя по железной крыше, от которого он отвык за семь зимних месяцев. Рамы в окнах уже были выставлены, и звук приносился густой и отчетливый, точно над железом крыши опрокинули мешок с горохом, и сквозь этот шум едва пробивалось мягкое и задумчивое бульканье. Алексей Степанович засветил огонь и, накинув пальто, выглянул наружу. Было так темно, что в первую минуту он не мог рассмотреть ракиты, которая стояла как раз у входа. Грохот дождя на крыше стал глуше, но бульканье усиливалось; и Алексей Степанович понял, что капли дождя попадают в воду, и удивился, откуда она взялась у его домика, стоявшего на бугорке...»

Леонид Николаевич Андреев

На реке

Алексей Степанович, машинист при Буковской мельнице, среди ночи проснулся, не то уже выспавшись, так как накануне он завалился спать с восьмью часами, не то от ровного шума дождя по железной крыше, от которого он отвык за семь зимних месяцев. Рама в окнах уже были выставлены, и звук приносился густой и отчетливый, точно над железом крыши опрокинули мешок с горохом, и сквозь этот шум едва пробивалось мягкое и задумчивое бульканье. Алексей Степанович засветил огонь и, накинув пальто, выглянул наружу. Было так темно, что в первую минуту он не мог рассмотреть ракиты, которая стояла как раз у входа. Грохот дождя на крыше стал глуше, но бульканье усиливалось; и Алексей Степанович понял, что капли дождя попадают в воду, и удивился, откуда она взялась у его домика, стоявшего на бугорке. Постепенно тьма начала двигаться перед глазами и собираться в черные пятна, похожие на провалы в темно-сером полотне. Вот темную полосу вытянулась ракита; за нею черным пятном встал барак, в кото-

ром находится потухший паровик; дальше, как туча с причудливыми краями, расплывался четырехэтажный корпус мельницы. Одно окно, под крышей, слабо светилось, и прямо под ним, в самом низу, смутно колебалось и двигалось на одном месте светлое пятно. «Ого, куда подошла!» – подумал про воду Алексей Степанович с тем приятно-жутким чувством, с каким люди встречают проявление грозной силы природы. Набросив пальто на голову, он обошел по ледяному, еще не стаявшему пласту вокруг своего домика и заглянул за угол, туда, где находилась река, а за нею, на противоположном берегу, раскидывались последние домишки Стрелецкой слободы. Но теперь не видно было ничего, точно мир кончался в двух шагах от Алексея Степановича, а дальше был бездонный провал, и там не слышалось ни звука, и не виднелось ни огонька, ни светлого пятна. Дождь шлепал где-то вблизи, а из черной пропасти подувало легким ветерком, несло свежестью и тиной, и неуловимым запахом льда, воды и навоза. Алексею Степановичу почудился крик; он долго вслушивался и даже снял пальто с головы, но только дождь нарушал зловещую тишину, обнявшую реку. Очевидно, он ошибся.

И снова то неприятное, что не оставляло Алексея Степановича всю страстную неделю, завозилось в его душе и отняло у ночи ее жуткую прелесть. Он об-

ругал дождь, скользкий ледяной пласт, свою маленькую одинокую комнатку, мельника Никиту, храпевшего в кухне, и повалился на кровать, опротивевшую за шесть дней непрерывного лежания, от которого кости ломило больше, чем от работы. Противно было все, что в нем и что вокруг него. Шесть дней он не умывался и не причесывал волос; Никита всегда вносил на сапогах грязь; в окна глядело серое, тусклое небо, и все это создавало ощущение чего-то нечистого, беспорядочного. И такими же нечистыми казались и мысли. Вначале поста стрельцы избили его за ильманинскую Дашу, и он две недели пролежал в больнице и поссорился из-за этого с управляющим, а когда выписался и с револьвером в кармане прошелся по слободе, Даша отвернулась, а проклятые ребята прыгали вокруг на одной ножке и пели: «Баринок, а баринок, зачем корявую утку съел?» Он грозно смотрел на встречных, ожидая косога взгляда, чтобы завязать драку, но все потупляли глаза, а за спиной чей-то угрюмый голос пробурчал:

– Попрыгай, попрыгай! Авось допрыгаешься!

Разбойники эти стрельцы: стоят за своих девок горой и никого со стороны не подпускают: в третьем году у одного телеграфиста гитару на куски разломали, а самого чуть струной не удавили. И всем Алексей Степанович чужой. Мельники за спиной смеются и драз-

нят баринком; настоящие господа сторонятся и никогда руки не подают. И Алексей Степанович то винил людей и жалел себя, то думал о своем характере, гордом и неуступчивом, и думал, что все горе его жизни проистекает от него самого. Но было одинаково тяжело и то и другое и вызывало одинаковое чувство тошноты и скуки, которую хотелось сбросить с себя, как тесное, неудобное и грязное платье. Крепкие мышцы и здоровое тело требовали труда и движения, а он лежал, как колода, и чем больше лежал, тем противнее становился самому себе. Приходили такие мысли, что если бы кто-нибудь взял его за шиворот и выбросил на двор, он сделал бы для него доброе дело. Долго ворочался и вздыхал Алексей Степанович и заснул только тогда, когда окно, до тех пор не отделявшееся от черных стен, стало определяться в виде синего четырехугольника.

– Степаныч! Алексей Степаныч! – будил его Никита, белый от мучной пыли, въевшейся в лицо и полушубок. – Буде спать-то! Невесту проспишь.

У Никиты было круглое, безусое лицо, и он всегда смеялся и со всеми держался наравне: с Алексеем Степановичем, с самим Буковым и девками, которых он соблазнял шутками, кумачною рубахою и подсолнухами. Даже суровые стрельцы, и те любили его и дрались с ним как с равным, а не били его гуртом.

– Глянь-ка, что вода-те делает! – продолжал Никита. – Страсти!

Полный темными впечатлениями ночи, Алексей Степанович неохотно повернулся от стены – и был ослеплен ярким светом, наполнявшим комнату. В окно падал золотой столб солнечного света, и в нем весело поблескивал пыхтевший самовар, а снаружи неслись бодрые звуки голосов и отчаянно-звонкое щебетание воробьев. Никита, подававший самовар, открыл окно, и оттуда несло ароматным теплом, ласкавшим горло и щекотавшим в носу. Первый раз за неделю выглянуло солнышко, и все радовалось ему.

– Ловко! – крикнул Алексей Степанович и босиком подбежал к окну, выходящему на реку. То, что он мельком увидел, было так ново, интересно и весело, что он поспешно бросился натягивать брюки и высокие сапоги, у колен стягивавшиеся ремешками. Пока он одевался, Никита стал под солнечные лучи, поднял лицо кверху и сладко зажмурил глаза. Постепенно лицо его стало дергаться, и брови взлезли на лоб; еще раз со свистом он втянул носом воздух – и чихнул так громко и звучно, что на секунду не слышно стало воробьев.

– Вот, брат, история, – сказал он, приводя нос в порядок и моргая глазами, – с утра нынче чкаю. Как поднимешь морду в упор солнца, так и чкнешь.

Алексей Степанович выскочил в дверь, чуть не стукнувшись головой о низкую притолоку – и остановился: перед самыми его ногами стояла вода, уже окружившая ракиту, и по ней тихо плыли и кружились грязные соломинки навоза, смытого со двора. В заводи было тихо, и ракета уходила вверх и вниз, и отражение ее со смягченными нежными красками было красиво и воздушно. Снаружи еще сильнее чувствовалось сладостное тепло, и свет лился не только от солнца, но и от всего синего яркого неба, а воробьи кричали как пьяные. И на фоне их немолчного крика остальные звуки выделялись веселые и мелодичные. По двору между тремя образовавшимися островами: мельницей, баракom и домиком Алексея Степановича, скользили две большие и неуклюжие лодки, и мельники, белые от муки, со смехом и шутками вылавливали поднятый водою тес. Желтые доски спокойно лежали на воде и, увлекаемые незаметным течением, поворачивались концами к реке. Ручеек, начинавшийся от стены домика, проточил себе ход в ледяном наросте и тихонько вливался в воду, журча мягко и скромно.

– Чисто в крепости, – весело сказал Никита. – Теперь, брат, шабаш; коли не приеду за тобой с лодкой, тут тебе и пропадать!

Лодка была тут же, привязанная к болту от став-

ни. Алексей Степанович и Никита переправились на мельницу и вышли на галерейку, висевшую над рекой на высоте третьего этажа. Там уже собрался народ, рабочие и управительская семья, и женщины ахали и боялись подойти к перилам. Сухо поздоровавшись с управляющим, толстым и рыжим мужчиною, Алексей Степанович стал смотреть на реку.

– Тридцать годов, бают старики, такой воды не было, – говорит пожилой мельник. – Беда народу-то.

– К утру спадет, – авторитетно ответил управляющий. – Это вода не полая, дождевая. Снег-то уже весь потаял.

– Народу-то, я говорю, беда, – продолжал мельник, смотря из-под ладони на катившуюся реку. – Для-ради праздника-то.

Действительно, вода все так изменила, что Алексей Степанович долго не узнавал знакомой местности. Неделю тому назад виднелись еще столбы от рухнувшей плотины, а теперь на ее месте так ровно и гладко, словно тут человек никогда и не пытался поставить преграду вольной стихии. Противоположного берега не было совсем. Вода вливалась в улицы и переулки слободы, от которой оставались одни крыши, словно самые дома ушли под землю. Между ними ползало две-три лодки, и стоял такой крик, какой бывает на ночных пожарах. Направо от слободы, по

течению, берег подымался горой, и на нем сверкали стеклами и белыми стенами городские постройки, и виднелась темная полоса столпившегося на берегу народа. Как второе маленькое солнце, горел соборный крест. Налево, в версте, висел высоко над водою железнодорожный мост, и по нему тихо полз белый клубочек дыма. Внизу, около самой насыпи, торчали из воды голые верхушки деревьев и одиноко чернела крыша.

Звонкие голоса мельников, ловивших доски, сияние неба и солнца, разноголосый крик на той стороне, казавшийся так же веселым под этим чистым небом, белый клубочек дыма – все это создавало живую и радостную картину и наполняло душу бодростью и желанием деятельности, такой же живой и веселой.

– Надоть бы лодку подать, – сказал пожилой мельник, протягивая руку к затонувшей слободе.

– Вот управимся, ужо дадим, – ответил управляющий.

Вошел рабочий с лицом радостным и испуганным, как у человека, который принес свежую и страшную новость, и еще издалека крикнул:

– Братцы, а воды-то прибывает!

И хотя это было действительно страшно для тех домишек, от которых уже оставались одни крыши, всем стало еще радостнее, и только пожилой мельник сер-

дито оборвал:

– Буде врать-то!

– Ей-богу! Я на палке зарубку поставил. Покрыла!

Все посмотрели на воду так, точно они видели ее в первый раз и только теперь узнали, какой у нее коварный и грозный нрав, и все разом заговорили. Пожилой мельник тыкал пальцем по направлению слободы, управляющий соображал и перебирал на животе цепочку часов, а женщины требовали, чтобы их успокоили и сказали, что вода не пойдет к управительскому дому и службам, стоявшим высоко на горке. Алексей Степанович еще раз окинул взглядом реку и отправился к себе. Самовар потух, и солнце уже отошло от окна, и только кусок белой скатерти резал глаза и бросал отсвет на стену. Но скоро потух и он, и сразу стало скучно и темно, как и вчера ночью. Алексей Степанович лег на кровать и попробовал читать самоучитель французского языка, но чтение не шло. Крики на дворе стихли. Раза два входил Никита и сообщал, что одну лодку уже послали к стрельцам и что вода, кажется, подымается. Потом он подал постный невкусный обед.

– Смотри, тебя тут не замочило бы, – сказал он, глядя, как машинист лениво полоскал ложку в холодных щах. – К порогу подошла.

Алексей Степанович молчал.

– Разговятыся к управителю пойдешь? – спрашивал Никита.

– Пошел ты с ним к черту!

Никита рассмеялся.

– Ну вот, рассердился! Чудак! А я, брат, сейчас тоже поеду. Вторую лодку даем. У кузнеца Баранка хата развалилась, чуть не утопи все.

Баранок был один из тех, которые избили машиниста.

– Поедем, брат, что слюни пускаешь! – продолжал Никита. – Я тебе там такую покажу... у-ах!

Когда вторая лодка, с Никитой на руле, уже отчаливала, Алексей Степанович высунулся из окна и крикнул:

– Погоди! Я с вами!

Когда он входил в лодку, ему было неловко: все знали, что стрельцы избили его, и теперь должны были смеяться, что он едет к ним на помощь. Но мельники были ласковы и смотрели на его участие, как на дело самое простое и естественное, и никто даже и не вспомнил о драке, которая не имела и не могла иметь отношения к тому, что происходило сейчас. И когда они поплыли на середину реки и мельница стала казаться маленькой и низенькой, словно опустившейся в яму, Алексей Степанович забыл о неловкости и весь ушел в борьбу, от которой становилось легко и бод-

ро. Лодку кружило и гнало вниз, и весла скрипели в уключинах; о борт стукнула маленькая льдинка и, перевернувшись вокруг себя, обошла лодку.

– Хорошо, что лед-то прошел, – сказал Никита, чувствующий себя барином и склонный к беседе.

– Н-да, – ответил один из гребцов, – а то форменно бы счистило.

– Степаныч! А отчего я теперь не чкаю? Морду подымаешь, а не чкаешь... Ну, веселее, веселее, ребята! Налягай! Раз!..

В залитых улицах слободы вода стояла спокойная и глубокая, и только местами лениво кружились щепки и доски поломанных заборов. Первые к реке чердаки были уже пусты и безмолвно глядели своими оконцами; но дальше, на Холодной улице, где никто не ожидал воды и не принял никаких мер, господствовала суматоха и слышались визгливые женские голоса и плач детей. Несколько лодок, подававших помощь, не успевали принимать и перевозить на сушу всех желающих, и спасатели не на живот, а на смерть ругались все с теми же бабами, совавшими в лодку всякую рухлядь. Дети вертелись под ногами, высывались, рискуя свалиться в воду, из отверстий разломанных крыш, перекликались друг с другом, орали, когда их била нетерпеливая рука, и, как мешки с мукой, шлепались в поданную лодку. Там они сидели и тараци-

ли глаза, полные восторга: для них, привыкших с детства к реке, вся эта история казалась неожиданным развлечением. Из щели одного чердака торчала над водой улочка с подвязанной ниткой. Самого рыбака видно не было, но, судя по удивительному хладнокровию и настойчивости, он не мог принадлежать к старшему поколению стрельцов.

Алексей Степанович причалил к первому чердаку, откуда настойчиво звала лодку чья-то голая женская рука, и с этой минуты уже ни о чем не думал. Он погружался во тьму чердаков, где натыкался на балки и ударялся головой о стропила, и снова на миг выглядывал на свет, нагруженный всяким тряпьем, и эти тряпки казались ему такими же ценными, как и самим бабам. Вокруг него кричали, голосили, спорили и ругались; перед глазами мелькали бородатые и безбородые лица, все знакомые и приветливые: теперь он уже не мог бы разобрать, кто бил его когда-то и кто не бил. Шею его охватывали детские грязные ручки, и к плечу прижималось то испуганное личико девочки, то восторженное и замазанное лицо мальчугана.

Раз в его руку попала кукла – картонная, с поломанным черепом, откуда лилась вода, когда куклу брали за ноги; какой-то сердитый и упрямый мальчуган сперва заставил его положить в лодку ящик с бабками, а потом уже согласился сесть и сам. И когда, с нагру-

женной по край лодкой, он пробирался по узким переулкам, а то и прямо через сады, поверх затопленных заборов, и гибкие ветви деревьев с разбухшими почками царапали его лицо, ему чудилось, что весь мир состоит из спокойной ласковой воды, яркого, горячего солнца, живых и бодрых криков и приветливых лиц. Он болтал с ребятами, успокаивал, утешал, распоряжался, и голос его самому ему представлялся полным и звонким, и временами думалось, что праздник, большой и светлый, уже наступил и никогда не кончится. Случилось, что его лодка проходила мимо большого каменного дома, в котором все окна второго этажа были открыты, и у них толпились женщины. Среди них машинист узнал Дашу и с улыбкой поклонился, и она так же с улыбкой ответила и что-то крикнула. Он не разобрал слов, но по голосу понял, что это были какие-нибудь хорошие и ласковые слова.

Чердак сменялся чердаком, и, так как все они были одинаково темны и убоги и похожи один на другой, Алексей Степанович перестал различать их и думал, что он возится все в одном. И только по тому, что путь до суши становился все короче, солнце стало светить не так ярко и они чаще попадали в холодную тень, он понимал, что время идет к вечеру, и работа, радостная и веселая, кончается. Промокший, голодный, он жалел об этом и боялся потерять то, что кружило те-

перь его голову, как вино, и озаряло душу смеющимся светом. До сих пор он не знал, что он любит людей и солнце, и не понимал, почему они так изменились в его глазах и почему хочется ему и смеяться и плакать, глядя в испуганное лицо девочки или подставляя зажмуренные глаза солнечному лучу, желтому и теплomu. Точно он впервые открыл искусство и наслаждение дыхания, и то, что входило в его грудь, было и свет, и тепло, и завтрашний праздник; и хотелось не думать, а только дышать – дышать без конца.

Когда они возвращались на мельницу, солнце заходило за мостом, почти не видном теперь в этом пылающем костре, и только высокая насыпь бросала длинную синюю тень. Небо ушло ввысь, и между ним и водою было так много воздуха, простора и мягкого тепла, и так далеко был город и затопленные берега, точно весь мир раздвинулся вширь и ввысь, и не хотелось входить в низенькие комнаты, где давят потолки. Мельники говорили о том, что было, и смеялись над Никитой, который свалился в воду и теперь сидел мрачный и синий от холода и думал о бабе, которую он обнял в темноте чердака и которая дала ему по шее. Шутил и Алексей Степанович, и мельники не удивлялись, что мрачный и гордый баринок стал простым и обходительным.

– Дома! – сказал мельник, когда лодка шарахнулась

боком о ракиту и стукнулась о порог домика.

Но и в комнатке Алексея Степановича, когда засветился в ней яркий огонек и запел начищенный к празднику самовар, стало весело и уютно. Алексей Степанович, возбужденный и разговорчивый, посадил с собою Никиту, но тот мрачно выдул пять стаканов чаю и, несмотря на уговоры, отправился вздремнуть до завтра: его разморило свежим воздухом и работой.

– Ложись и ты, – посоветовал он машинисту. – Разбегался, чисто жеребенок. К управителю-то пойдешь?

– Пойду.

– То-то.

Алексей Степанович лег на постель, заложив руки за голову, но через несколько минут вскочил. Его снова тянуло на простор, и снова хотелось пережить весь этот дивный день с самого начала – с той минуты, когда блеснуло солнце в глаза, отуманенные видениями ночи и тоски.

Стояла уже ночь, теплая, тихая, торжественная, полная звучной тишины, когда Алексей Степанович вышел на галерею. Хлюпала вода, покачивая лодки, и звезды дрожали на ее зыбкой поверхности. Еще шире, еще полнее стал мир, и не виделось конца воде, уходившей в прозрачную тьму. Слобода скрылась совсем, и только далекий город мерцал и повторялся в реке огоньками, такими живыми и теплыми,

так не похожими на безжизненное сияние звезд. Еле слышный, донесся грохот экипажа по мостовой и сразу смолк, точно экипаж остановился или свернул за угол; но долго еще ухо ловило его отголоски. Налево, там, где находился невидимый теперь мост, горел зеленый огонек, похожий на низко опустившуюся звезду. Алексей Степанович оперся на перила и долго смотрел на город, где он чувствовал живых людей, предпраздничную веселую работу и сутолоку. Совсем ясно представлялись ему прибранные уютные комнаты, в которых пахнет сыростью от вымытых полов, белые кисейные занавески, красные и зеленые лампадки перед сияющими образами и сдержанный веселый говор людей, одевающихся в свое лучшее платье, – все то, что видел он в детстве.

И снова, как и вчера ночью, ему послышался крик о помощи.

Алексей Степанович впился глазами в темноту, глядел и слушал так внимательно и напряженно, что в ушах зашумела кровь, но крик не повторился.

«Опять почудилось», – подумал Алексей Степанович, как вдруг там, где зеленел железнодорожный фонарь, внизу, мелькнул слабый и робкий огонек и тотчас погас. И машинист вспомнил ту одинокую черную крышу, которую он заметил еще утром, и свою мысль о безвыходности заключенных под этой кры-

шей, – мысль, мелькнувшую тогда же утром, но забытую днем.

Никита спросонок послал Алексея Степановича к черту, и он решил ехать один, в душегубке. Он был уверен, что людей уже нет в затонувшем домике; но в крике о помощи, почудившемся, или бывшем в действительности, звучала такая беспомощность и тоска, что он не в силах был послушаться призыва. Грести пришлось против течения, и Алексей Степанович в несколько минут покрылся потом. На середине реки его понесло вниз, но он с усилием выправился и отдохнул в залитой слободской улице, куда загнало его течение. Теперь чердаки были сумрачно-молчаливы и черны и казались немного страшными, как крышки больших гробов, так же как и черная река, полная скрытой жизнью, таинственным шепотом и силой. Она словно боролась с Алексеем Степановичем, вырывала весла и угрожающе весело журчала у носа лодки. Пробираясь вдоль берега через затопленные призрачные сады, вздрагивая от прикосновения холодных ветвей, скрюченных и цепких, как пальцы утопленника, и отталкиваясь от черных крыш, Алексей Степанович выплыл за окраину, где вода разливалась широким, тускло блистающим озером. Он греб наугад к насыпи, которая черным горбом стала отделяться от темного неба. Нагибаясь вперед, равномер-

но поднимая и опуская весла, Алексей Степанович закрывал глаза, и тогда казалось, что весь мир остался где-то далеко назади и он плывет давно, уже целые года, плывет в черную бесконечность, где все ново и непохоже на оставленное позади. Так шли минуты, и, когда он поднял голову, насыпь стояла перед ним, высокая и строгая, а ближе серела одинокая крыша, немая и таинственная. Под нею чуялось присутствие живых людей, и то, что они молчали, когда кругом была вода и ночь, наваяло на Алексея Степановича неопределенный страх и тревогу, он подогнал лодку вплотную и остановился у маленького, без перил, балкона, совсем теперь лежавшего на воде. Низенькая кривая дверь вела внутрь, и весь дом казался старым, покосившимся и покрытым заплатами, как нищий, и было удивительно, как совсем не повалила его сильная и буйная вода.

– Есть тут кто? – крикнул Алексей Степанович, и звук его голоса отскочил от крыши и, замирая, понесся по реке. Внутри чердака слышались невнятные, хрипящие звуки, как будто кого-нибудь душили. Привязав поспешно лодку, Алексей Степанович вскочил на балкончик и в дверях чуть не столкнулся с женщиной, шедшей ему навстречу.

– Это вы кричали? – мягко спросил Алексей Степанович, обрадованный видом живого существа, и во-

шел на чердак без приглашения, привыкнув, чтобы везде его встречали, как спасителя.

– Да, я, – также мягко и виновато ответила женщина и пошла за ним в угол, где стоял стол и на нем маленькая иконка, перед которой теплилась тоненькая восковая свечка. Алексей Степанович мельком оглядел чердак, другой конец которого утопал в темноте, и остановил удивленный взгляд на столе. Он был покрыт чистою скатертью, и на нем лежали рядом два темно-бурых яйца и маленькая покупная и, видимо, черствая булка.

– Что это? – спросил он, вглядываясь в лицо женщины, молодое, но бледное лицо, улыбавшееся пугливой и искательной улыбкой, от которой еще печальнее становилось выражение больших и добрых глаз. Ему казалось непонятным и странным – эта одинокая женщина и приготовления к встрече праздника тут, среди воды и ночи.

– Р-разговляться, – ответил снизу грубый голос, точно раскатывающий букву р. Алексей Степанович испуганно опустил глаза и у стенки, где крыша сходилась с потолком, увидел темную массу лежащего и чем-то прикрытого человека. Он нагнулся еще ниже, и то, что он увидел, поразило его страхом и отвращением. Действительно, это было страшное лицо. Крупное, опухшее и посиневшее, с седой колючей

щетиной на подбородке и щеках, оно походило на лицо утопленника, пробывшего несколько дней в воде; полуприподнятые тяжелые веки, под которыми серел тусклый и неподвижный зрачок, и тяжелый запах делали этого живого мертвеца отвратительным. Грудь лежащего приподнялась, и из нее снова посыпались глухие, рыкающие звуки, а губы почти не шевелились, точно говорил не он, а кто-то другой внутри его.

– Титуляр-р-ный советник Данков... Приятно познакомиться.

Он набрал воздуха и прибавил:

– Только не надолго. Умир-р-аю!.. Очень глупо.

Алексей Степанович молчал и смотрел на женщину. Та, продолжая улыбаться, сказала:

– Присядьте, пожалуйста. Извините, что беспокоила вас. Уж очень им худо стало, я и испугалась.

Говорила она голосом ровным и без выражения. И, кончив, она присела на полу, около старика, охватила колени руками и снизу вверх, не отрываясь, смотрела на машиниста. И то, чего не передал голос, досказали глаза. В них было и доверие, и страх, и радость, что она видит живого, здорового человека.

– А вы разве нас не знаете? – спросила она.

– Потому и пр-р-иехал, что не знает, – ответил Данков. – Он не дур-р-рак. Позвольте р-р-екомендовать... Пансион содер-р-жал. Вр-роде отца был, а они

меня кормили. И дом этот мой. А теперь все разбежались. Как кр-рысы.

В глухом голосе звучала странная ирония.

– А она дур-ра. Осталась.

– Куда же бы я пошла? – неопределенно ответила женщина.

– Молчи, когда умные говорят. Дурра... – бурчал старик. – А ты тоже прохвост? – внезапно перешел он на ты. – Что это я тебя не помню?

Алексей Степанович молчал. Он вспомнил теперь, что вскользь приходилось ему слышать в слободе о Данкове и его девушках, от которых сторонились самые небрезгливые, так были они грязны, оборваны и дешевы.

– Тоже пр-рохвост, – утвердительно ответил Данков, и на лице его выразилась страшное подобие улыбки. – Все пррохвосты. А она дурра. Оставили умирать, как собаку. Ступай вон! Слышишь?

Алексей Степанович неловко улыбнулся и посмотрел на женщину. Она не сводила с него глаз, словно боялась на миг потерять его.

– Как вас зовут? – спросил машинист, ласково глядя на «дурру».

– Оля. А вас?

– Алексей Степанович. Нужно вас перевезти. Разве тут можно?

– Вчера как трабабахнет льдина... – бурчал старик. – Шальная.

– Нет уже, ни к чему, – ответила девушка. – Им тронуться нельзя, скоро помрут.

– Корень моего бедствия в том, что хвост я опустил. Живи так, чтобы хвост кольцом. Понял? А она дурра. Я ее бил. Она врет, что я помру.

Алексей Степанович несколько привык к рыкающему голосу, и теперь, когда лица старика не было видно, он казался только жалким и вовсе не страшным.

– И долго вы тут так? – спросил он Олю.

– Четыре дня. Со вторника. Уж очень они плохи. Вот перед вами совсем я испугалась. – Оля наклонилась к старику: – Иван Данилыч, спите?

Старик молчал. Оля улыбнулась и прошептала:

– Заснул. Он все время засыпает. Вы не верьте, что он меня бил. Это он перед чужими хвастает.

На минуту Оля умолкла и продолжала, видимо радуясь звуку своего голоса и возможности поговорить:

– Разве так когда ударят. Пьяные. С горя. А то они ничего, у них медаль есть.

– Какая медаль?

– За службу. Они служили раньше. А теперь тоскуют. Все плачут, умирать не хочется. А то разные страшные слова говорят. О черте.

– И ничего вы тут... одна-то? – с участием спраши-

вал Алексей Степанович.

– Днем ничего, а ночью стра-а-шно, – протянула девушка. – Особливо вчерась. Дождь, к нам протекло, и свечу затушило. А они кричат: умир-раю. Потом песни пели и ругались. Не так, не по-нашему, а благородно ругались, как господа.

Внезапно домик затрясся от грохота и лязга взшедшего на мост поезда, и за гулом его Алексей Степанович не слышал, что говорит Оля. Постепенно лязганье стихло, и далекий свисток пронесся над водой.

– Ольга! – заговорил Данков, не открывая глаз. – Ты не уходи! А он ушел? Пр-рохвост.

Оля шепнула Алексею Степановичу и ответила, что ушел.

– Р-руку... – Данков с трудом выговаривал слова. – Руку положи. Дур-ра, не туда. На губы.

Оля положила руку и тотчас же отдернула ее.

– Ну, что это вы, Иван Данилович! Опять за глупости.

– Не пр-ривыкла. А я, когда молодой был, всегда у барышень р-ручки целовал. Душистые. Молодец я был. Дур-рак был.

Оля молчала, наклонившись над опухшей, безобразной головой. Алексей Степанович видел, как она поднесла к глазам конец платка, и тихонько на носках вышел на балкончик. Там он прислонил голову к стол-

бу, и, когда посмотрел на реку, все дрожало, и звезды дробились и сверкали, как большие бледно-синие круги. Ночь потемнела, и от безмолвной реки несло холодом.

Отсюда берегов не было видно, и если смотреть к городу, то казалось, что воде нет конца. Только по двум-трем точно висевшим в воздухе огонькам можно было догадаться, что в той стороне живет и волнуется многолюдный город.

Внезапно на верхушке горы, там, где должна была находиться соборная колокольня, блеснул яркий белый свет, и тьму прорезал столб электрического света, узкий в начале и широкий к концу, а куда он упал, там заблестели влажные крыши и засверкали штукатуренные стены. И в ту же, казалось, секунду и река, и темная ночь, и синее небо вздрогнули и загудели, и трудно было понять, откуда выходил этот густой, дрожащий от полноты, могучий и бодрый звук. И только когда присоединились к нему мягкие, идущие волной звуки с ближайшей колокольни, Алексей Степанович понял, что начался пасхальный благовест, и показалось ему похоже на то, словно пробудилась сотня великанов и заговорила, сдерживая в медной груди свой мощный голос. Он все расширялся и рос, и скоро все тихие звуки ночи утонули в его властном и радостном призыве. Со всех концов темного горизонта

лились медные голоса, одни важные, старые и задумчиво-серьезные, другие молоденькие, звонкие, веселые, и сплетались между собою в разноцветную гирлянду, и, как ручьи, вливались в мощную глубину соборного колокола.

Алексей Степанович снял шапку и перекрестился. И когда он обернулся, то увидел, что рядом стоит Оля, и на бледном лице ее горит отблеск далекого белого света. Одной рукой она держалась за столб, другая придерживала на шее легкий платок.

Вот на колокольне Василия Великого вспыхнул пожаром красный бенгальский огонь и багровым заревом лег на черную реку; И во всех концах горизонта начали зажигаться красные и голубые огни, и еще темнее стала великая ночь. А звуки все лились. Они падали с неба и поднимались со дна реки, бились, как испуганные голуби, о высокую черную насыпь и летели ввысь свободные, легкие, торжествующие. И Алексею Степановичу чудилось, что душа его такой же звук, и было страшно, что не выдержит тело ее свободного полета.

Руки его коснулась другая горячая рука, и ухо различило тихий, боязливый и радостный шепот:

– Правда, что который человек на пасху умирает, тот прямо на небо идет?

– Не знаю... Да, правда, – так же тихо ответил он.

Звуки все лились, и радость их становилась бурной, ликующей. Точно медные груди разрывались от радости и теплых слез.

На маленьком балкончике смутно темнели две человеческие фигуры, и ночь и вода окружали их. В досках пола ощущалось легкое, едва уловимое содрогание, и казалось, что весь старый и грешный домишко трясется от скрытых слез и заглушенных рыданий.

21 – 24 февраля 1900 г.